Годы отказа

Юрий Колкер

SHOUT
SHARE
IT

-
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Юрий Колкер

ГОДЫ ОТКАЗА

(1985)

Юрий Колкер, 1984, центр абсорбции в Гило, Иерусалим

Чем были для меня *годы отказа*? Во-первых, эпохой, — хотя

отрезок в неполных три с половиной года, между 1 декабря 1980 и 16 мая 1984, и не кажется мне теперь продолжительным, даже если добавить к нему предшествовавшие 10 месяцев хлопот, жалоб и ожидания. Во-вторых, — эпохой жизни увлекательной, авантюрной — и светлой, полной удач. Оглядываясь, вижу череду волшебных совпадений. Тени скрадываются, на улицах Ленинграда — ласковый июньский полдень.

Зато шесть предыдущих лет были сплошным кошмаром. И начать придется с них, они и были годы моего отказа — годы постепенного разрыва с режимом, крушения надежд, отчаяния. «На Твой безумный мир ответ один — отказ…» Был период (1975), когда Таня не решалась отпускать меня одного на чердак, где мы сушили белье.

Итак, около 10 лет, с конца 1974 по июнь 1984, мы жили надеждой на выезд. Вот внешняя канва этого десятилетия:

1974 — мы заказали вызов;

1977 — получили первый вызов и взяли анкеты в ОВИРе;

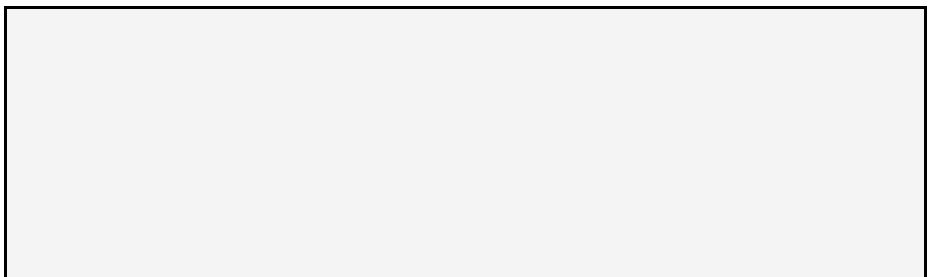
1980 — ходатайствовали о выезде и получили первый отказ;

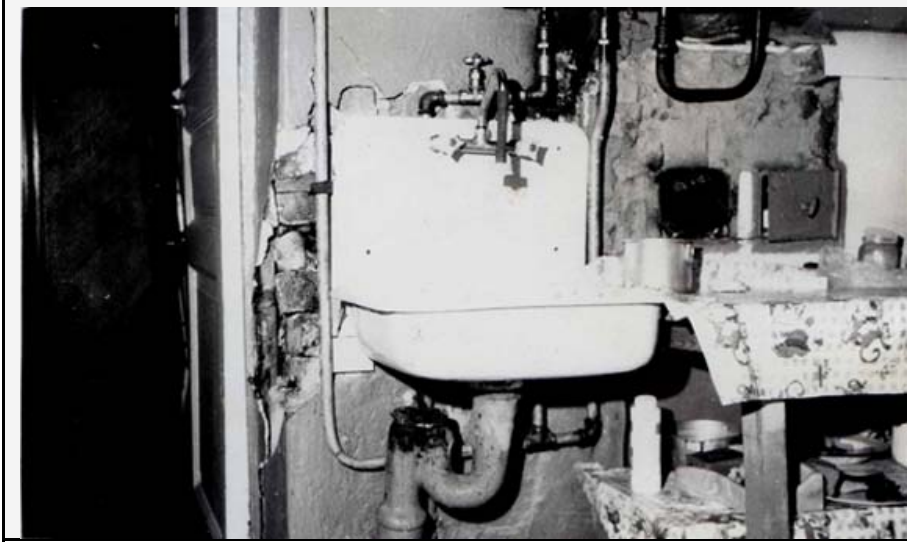
1984 — уехали.

А теперь — как это было в деталях.

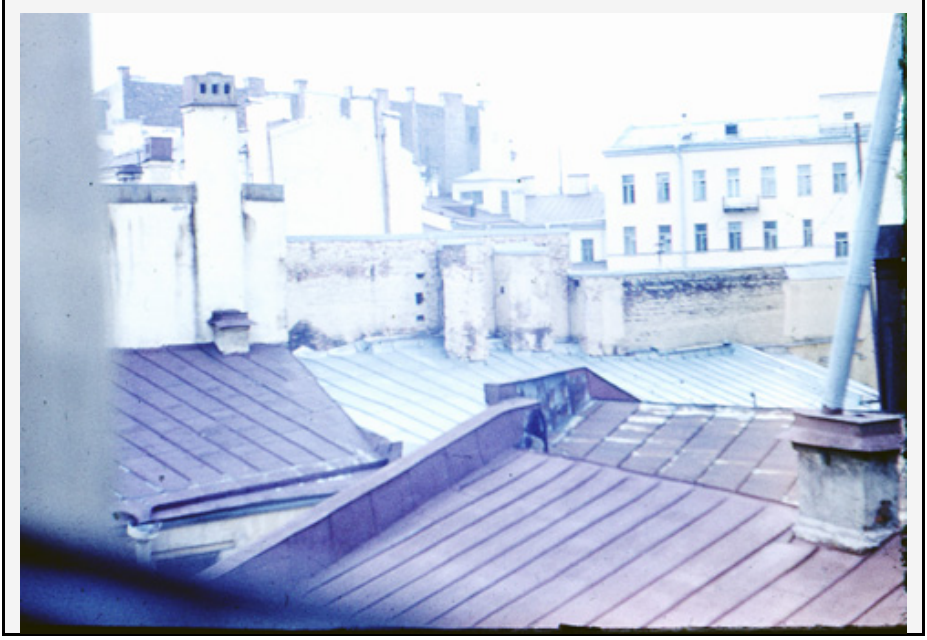
В 1974 году родилась Лиза, я окончил аспирантуру, и издательство *Советский писатель* внезапно отложило подписание уже составленного договора на книгу моих стихов, — как мне объяснили, *по звонку*.

Вообразите коммунальную квартиру: вход через кухню (высоченный, полвека не чищенный потолок; неровный, из подгнивших крашеных досок пол), входная дверь снаружи легко открывается без ключа, четыре комнаты — шесть семей (за нашей стенкой — еще не старая женщина с двумя взрослыми дочерьми, у одной из которых — муж и шестимесячный ребенок: все пятеро в одной комнате в 24 кв.м), узкий, темный коридор и — наша комната, самая большая: 28 кв.м, семь углов и два окна, выходящие на крышу котельной. На 12 человек жильцов — один сортир, одна ванная без горячей воды и одна плита с 4 конфорками. В качестве компенсации — в семи минутах ходьбы — Летний сад.





Мы слишком дорожим нашим отличием от обывателей, чтобы отличаться от них внешне. Приходит наша очередь уборки — и мусор я выношу чаще, а пол мою чище соседей. Есть (мы убеждены в этом) только один способ преодолеть метафизическую тьму советской действительности: принять на себя все, без изъятья. Кто сказал, что переполняющие поэта звуки освобождают его от общей для всех участи: стоять в очередях, чистить унитаз? Моя полудеревенская соседка не слыхивала о проблеме Дирихле — поэтому я уступлю ей плиту и подотру после нее под раковиной. Мне больше дано. Романтическое презрение к быту, когда он так тяжел, — пошлость, перекладывание на ближнего своей человеческой ноши… Но стирка! — зимой, в ледяной воде… Этого не забыть.



В апреле 1974 года началась для меня *служба* — в захудалом, затхлом институтике с апокалиптическим именем СевНИИГиМ. Наука здесь никого не интересовала. Все были заняты большим и никому не нужным делом — мелиорацией. Точнее, делали вид, что заняты. Истинным занятием большинства были интриги, сплетни, мелочные дрязги, грызня за места. Простейшие элементы духовности — вежливость и обязательность — воспринимались как слабость. Добавьте к этому голконду фальшивых бумаг, дутые отчеты, тупость и амбициозность начальников, лесть подчиненных, подозрительность и зависть. Я задыхался. Вновь, с необыкновенной ясностью я увидел, что общество высоких людей — возвышает, а общество низких — унижает. Но я был толстовцем, и противопоставлять себя окружающим казалось мне пошлостью, обывательщиной наизнанку. Индивидуальное нужно в себе подавлять. И я подавлял и терпел.

Терпение истощилось в конце того же 1974 года. Встретив на улице уезжавшего знакомого, я заказал ему вызов. Ибо к этому времени вполне выяснились три основных момента: научную карьеру сделать мне не дадут, стихи публиковать перестанут, и человеческого жилья (пусть однокомнатной, но квартиры) у нас не будет до старости. Бедность наша не выступала отдельным мотивом, мы ее вообще не сознавали — до рождения дочери. Так же точно не играли самостоятельной роли и национальные

чувства. Во мне они были очень слабы — в Тане отсутствовали: из трех народов, давших ей жизнь, она не выделяла ни одного. Ехать мы собирались — в Австралию: подальше от большевиков.

Мир преобразился. Молодость, с ее артистической широтой и безответственностью, окончательно прошла. Лишь семья и связанная с нею социализация впервые всерьез поставили передо мной первый вопрос бытия: Адам, где ты?

Годы с 1975 по 1980 были ужасны. Прежде удавалось все — теперь ничего. Еще недавно, в 1971-73, все веяло доброжелательностью, внушало надежду. Внезапно все стало отталкивающим, враждебным. Радостная открытость и сознание причастности ко всему сменились отчужденностью, отчужденность грозила перейти в озлобление. Еще недавно я писал по 150-200 стихотворений в год, теперь — 10-15. Моя фантазия (в том числе и научная), казавшаяся неистощимой, — сменилась апатией. Смерть отца, осуждавшего мои эмиграционные планы, усилила эти настроения. Усталость была непроходящей. Неудивительно, что когда в 1977, после двух с лишним лет ожидания и более чем 20 заказов, пришел долгожданный вызов, он, вместе с радостью, принес и сомнения. Мы пошли в ОВИР, взяли анкеты и — не стали их заполнять…

Дело в том, что мою диссертацию, законченную еще в 1975, я решил не защищать вовсе. Незадолго до получения вызова я написал обоим оппонентам и в ученый совет, что от защиты отказываюсь. Совет был в Институте физики в Красноярске. (После преобразования ВАКа, которым и была вызвана проволочка с защитой, оказалось, что есть всего три совета, присуждающих степень кандидата физико-математических наук за исследования по биофизике, — *ближайший* оказался в Красноярске.) Тут произошло неожиданное. Мой красноярский оппонент забрал письмо-отказ из совета, а мне написал в том смысле, чтобы я не делал глупостей. Мой минский оппонент, решив, что мне не нравится совет, брался устроить мне защиту в Москве. Оба письма пришли одновременно — чуть ли не в самый день взятия эмиграционных анкет. Я слегка растерялся. Мать и Таня посоветовали *отложить* отъезд и *сначала* защититься. Не ради степени, как подчеркивала Таня, а для завершения начатого. Уже не веря в успех ни того, ни другого предприятия, я защитил в 1978 полузабытую мною работу, а через год получил ненужный мне диплом кандидата. Но к этому времени Таня была уже на костылях, и об отъезде невозможно было и думать. Ценою диплома оказалась Танино здоровье.

Новый отсчет времени начался для меня с декабря 1979, с вторжения в Афганистан. Уже не жить (я считал себя человеком

сломленным), но хотя бы умереть следовало подальше оттуда. Я был потрясен не столько цинизмом Кремля, сколько великодержавной низостью моих сослуживцев, — и подал заявление об увольнении из этого гадюшника. Меня уговаривали остаться. Но обязательный месяц прошел, и в феврале 1980 я был свободным — и безработным… Кроме отвращения к СевНИИГиМу и страстного желания закрепить мой разрыв с режимом не словами, а поступком, мною двигало еще и желание оградить от неприятностей двух-трех порядочных людей в этом заведении, с которыми я был связан. Мое эмиграционное ходатайство могло повредить им.

В ОВИРе все было другим. Если в 1977 нам без слова выдали анкеты на вызов *от дяди*, то в 1980 мы четыре месяца просили принять к рассмотрению наше ходатайство о воссоединении *с братом*. Четыре месяца жалоб во все мыслимые инстанции — в том числе и на высочайшее имя, — и ответов из одной-единственной. Что подействовало? Не знаю. Разве лишь — количество моих петиций[1]. Неожиданно меня вызвали в ОВИР и предложили заполнить пробные анкеты (в одном экземпляре), а спустя неделю или две — разрешили подавать *по полной форме*. В конце мая мы удовлетворенно вздохнули: первый барьер позади.

К этому времени (с апреля 1980) я уже работал сменным мастером треста котельных. Мир вновь поменял цвета — на этот раз к лучшему. Урон социального статуса не задел меня, наоборот, сообщил небывалую легкость и веселье. Свобода — это осознанная необходимость отъезда. Семь бед — один отъезд. Отступать некуда. «Прошлое жадно глядится в грядущее, нет настоящего, жалкого — нет…» К концу 1980 я закончил третью книгу моих стихов — *Ex adverso*[2]. Писалось легко, как в 1972.

Лишь осенью 1980, волею случая, я прикоснулся к тому, что принято называть еврейским национальным возрождением. Было время консолидации отказников, которых вдруг стало много. Квартирные лекции по еврейской истории и культуре собирали по 50-70 человек и были вполне открытыми. Я стал посещать их — с тем большим интересом, что мои сведения о еврействе исчерпывались *списком моих прославленных братьев* и набором представлений из *Иудейской войны* Л. Фейхтвангера. Так я был воспитан. Самое слово *еврей* из нашей семьи было изгнано, о моем происхождении я узнал не от родителей. Теперь передо мной развернулась величественная ретроспектива, дававшая место мысли и надежде. Но я все еще не думал, что поеду в Израиль иначе как гостем.

Главным содержанием моей жизни была русская поэзия, русская культура. Другой я не знал. При этом с самого детства (я

сочиняю с шести лет, с 1952) я все яснее видел, что человек с моей фамилией нежелателен в русской литературе и неуместен в русском святилище муз. Незачем объяснять мучившие меня противоречия. Искушение полной ассимиляции было велико. Только однажды я воспользовался псевдонимом в открытой печати, уступив хору доброжелателей. В 1980, впервые столкнувшись с молодыми еврейскими ортодоксами, я понял, что и этот путь для меня неприемлем, что я никогда вполне не склонюсь ни к одному из полюсов и обречен дрейфовать между ними.

С момента моего ухода в кочегарку началась для меня полоса активного участия в ленинградском самиздате и т. н. второй литературе, где не только издаются журналы (не менее десяти), но и проводятся различные чтения. В январе 1981 меня просили рассказать о замалчиваемом поэте серебряного века Владиславе Ходасевиче, которого, как считалось, я хорошо знал, а после выступления предложили написать о нем для машинописного журнала *Часы*. Я долго колебался. Прозы я не писал никогда, литературоведом себя и во сне не видел, да и о Ходасевиче знал недостаточно. Но я страстно любил его стихи, более того, его поэтика стала одним из важнейших символов в моем миропонимании. Я решился, причем из двух возможных подходов, спекулятивного и компилятивного, выбрал второй, более трудоемкий и (так я думал) менее благодарный. Нужных книг не было ни одной: даже Ходасевича в типографском исполнении. Три месяца я не вылезал из Публички, для чего пришлось из сменных мастеров понизиться в кочегары: иначе не хватало времени. В котельных нашего участка, сплошь занятых литераторами (не без моей помощи), циркулировали уникальные книги, — и то, в чем мне отказала Публичка, я иногда получал прямо на рабочем месте. К концу мая был готов первый вариант *Айдесской прохлады* (так я назвал статью), и вскоре она вышла в №29 *Часов*. Но это оказалось только началом. 30 мая 1981 в нашей коммунальной трущобе состоялась *конференция* памяти Ходасевича (приуроченная к его 95-летию), где было прочитано четыре доклада. Собралось более 30 человек, притом не только ленинградцы. А спустя менее чем два года, весной 1983, в Париже вышел двухтомник стихов Ходасевича, мною составленный и прокомментированный, с *Айдесской прохладой* качестве приложения. Нечего и говорить о том, что тридцать с лишим лет стихотворчества не принесли мне и десятой доли известности, доставленной этой увлекательной, но случайной затеей.

Осенью 1981 мои стихи напечатал журнал *Континент* — первая публикация с 1975, когда меня прекратили печатать

советские журналы. Той же осенью я начал ходить на курсы иврита и на семинар по изучению Торы. Ни там, ни тут успех мне не сопутствовал. Оба занятия пришлось бросить в феврале 1982, когда меня буквально силой заставили написать пуримшпиль — пьесу о чудесном избавлении евреев Персии их единоплеменницей царицей Эстер. Примерно в это же время у нас дома появились первые визитеры из еврейских общин свободного мира. Переписка началась чуть раньше, причем одно из моих писем о положении евреев в СССР достигло британского парламента.

Летом 1982 возник ЛОЕК (Ленинградское общество по изучению еврейской культуры), а осенью — его печатный орган ЛЕА (Ленинградский еврейский альманах). К этому времени я был уже в самой гуще еврейской самодеятельности: член-учредитель ЛОЕК, редактор ЛЕА. Опять — инициатива принадлежала не мне, в активисты меня выдвинули (вовлекли) обстоятельства и люди. Нужен был стилист и редактор. И вот, первый (сентябрь 1982) и третий (февраль 1984) выпуски ЛЕА были подготовлены мною более чем наполовину каждый и мною же отпечатаны; четвертый (август 1984) был начат при моем участии; пять статей, пуримшпиль, подборка стихов, составление и редактура (т. е. полная переписка всех оригинальных текстов в нечетных номерах), служебные тексты и даже оформление и размножение — таково мое участие в ЛЕА. Принявшись за дело почти с неохотой, я вскоре увлекся, а затем и увидел в нем свой долг. Древнее правило — чтобы сделать гостя домочадцем, нужно заставить его работать, — сработало и в наши дни. Израиль оказался в фарватере моих интересов.

В 1983 самой заметной фигурой в ленинградских еврейских кругах сделался русский ученый и правозащитник Иван Мартынов. В своем трактате и многочисленных письмах протеста он показал черносотенный и неонацистский характер современной советской антиизраильской прессы. Деятельность Мартынова имела широкий резонанс в СССР и за рубежом. Еврейские активисты поддержали его. Вместе с другими и я участвовал в этом важном эпизоде, однако на вторых ролях.

Зимой 1983-1984, одновременно с подготовкой ЛЕА-3, я отредактировал несколько коллективных писем, одно из которых — требование свободы репатриации — было тут же переведено и подхвачено западными средствами информации. В России в короткий срок под ним поставили подписи сотни отказников из Ленинграда, Москвы и других городов. Именно эта декларация и ЛЕА-3, обнародованные почти одновременно, и явились, я думаю, поворотным моментом в моей судьбе. В марте 1984 меня уволили

из кочегарки *по сокращению штатов*, а в начале апреля вызвали в ОВИР и велели быстро собираться.

Лишь в отказе я почувствовал себя свободным человеком — насколько это вообще возможно. Я впервые занимался исключительно тем, о чем мечтал с детства, — писательством. Котельная стала моей студией, куда я отправлялся на целые сутки с машинкой и книгами. (Последние 2,5 года я отапливал Уткину дачу — архитектурный ансамбль XVIII века на слиянии рек Охта и Оккервиль.) Здесь я подготовил двухтомник Ходасевича и два выпуска ЛЕА, здесь сложилась четвертая книга моих стихов *Ночные травы*[3]. Сюда в 1983 приходили уговаривать меня вернуться в СевНИИГиМ на прежнюю должность — и каким же смехотворным показалось мне тогда это предложение! Сюда ко мне приезжали литераторы и еврейские активисты. Здесь мы с Таней встречали однажды Новый год. Будучи по своей натуре совсем не героем, я не испытывал страха в эти годы. Открытый разрыв с режимом принес мне колоссальное удовлетворение. Теперь все это позади. Я не жалею, что поменял Уткину дачу на Иерусалимский университет, но вспоминаю о ней с удовольствием и грустью.

журнал НАРОД И ЗЕМЛЯ (Иерусалим), №3, 1985.

ЮРИЙ КОЛКЕР, 1985, ИЕРУСАЛИМ

notes

Примечания

1

Возможно и вмешательство КГБ. В апреле 1980 мне пригрозили тремя годами лагерей по ст. 190 (1) за стихи, ходившие в самиздате. Об этой беседе, которой я тогда не придал значения, сообщала Хроника текущих событий.

2

Вышла под другим названием: Юрий Колкер. *Далека в человечестве*. Стихи 1974-80. Издательство *Слово*, Москва, 1991.

3

Точнее, почти сложилась. Вышла под другим названием: Юрий Колкер. *Завет и тяжба*. Стихи 1982-93. Издательство *Советский писатель*, СПб, 1993.